



АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Отцы и дети русского символизма

Перечитываешь знакомые страницы объемистой книги Волынского¹. Читаешь и невольно улыбаешься: все эти, хотя и умные, рассуждения веют таким далеким прошлым. Верно, точно, пожалуй, оригинально, но, Боже мой, до чего примитивна, известна, обща эта оригинальность. Приступая к еще непрочитанным страницам, испытываешь невольный искус прекратить чтение. Все, сказанное автором, мог бы, пожалуй, и сам рассказать себе, приняв стиль Волынского. Самым опасным ударом для авторского престижа является дерзкая мысль читателя, будто он знает все, что мог бы сказать автор.

Понимая стиль любого писателя, можно в разное время относиться и положительно, и отрицательно к этому стилю в зависимости от стадии своего внутреннего развития. Слишком хорошо известна людям нашей эпохи стадия отношения к Достоевскому, на которой стоит Волынский. Вот почему запас наблюдательности, остроумие, которыми элегантно блещет Волынский, превратились — остроумие в ходячее остроумие; наблюдательность — в общее место. Хорошо нам известен багаж обеих мест, необходимо нас встречающий на известной стадии понимания Достоевского. Слишком известны пределы этой стадии, а потому можно бы а priori вывести, что автор коснется *«богочеловека»* и *«человекобога»*, *«раздвоения сознания»*, *«трагизма сладострастия»* и т. д. и т. д. Всего этого и касается автор. Мы уже не ждем *«громов»* и *«гласов»*. Путь Достоевского и его школы нам хорошо известен. Вот почему анализ его творчества имеет для нас лишь историко-литературный интерес. С этой точки зрения труд Волынского является ценным вкладом в литературу о Достоевском. Даже более того: факт существования у нас исследований Мережковского, Волынского и Розанова² приятно щекочет национальное самолюбие. Перед лицом Западной Европы

мы можем сказать, что русская критика оценила и поняла великого отечественного писателя. Если бы не существовало у нас этих исследований, мы должны были бы краснеть за русскую критику. Теперь мы спокойны.

Когда Розанов пишет о поле, он сверкает. Горящие символы его безвременны. Времена, национальности группируются вокруг этих образов, как вокруг своего ядра. Возвращаясь к истории, он невольно перемещает народности. Достоевский оказывается египтянином. В Египте воскресают черты, нам близкие. Тут Розанов подлинно гениален. Тут имя его останется в веках.

Когда же кстати и некстати притаскивает крылатые видения Иезекииля к современным темам³, горящие уголья его творчества покрываются серым налетом фельетонного пепла. «*Это писал усталый Розанов*», — хочется сказать, пробегая фельетон «Нового времени». Розанов, это — зоркая рысь, пронизывающая мрак лесных лабиринтов. Еще издалека узнаешь о его приближении, когда в лесном одиночестве засверкают огоньки зорких глаз. Розанов-фельетонист, это — рысь, посаженная в клетку. Лихорадочно мечется она взад и вперед, возбуждая жалость, и вдруг оскалится. Тогда станет жутко.

Розанов, хватаясь за любую неинтересную тему, незаметно свертывает в излюбленную сторону. Тогда он бережно прибирает свою тему: тут вставит совершенно бесцветное письмо какого-то священника, наставит восклицательных знаков, снабдит сверкающим примечанием и вдруг от совершенно обыденных слов потянутся всюду указательные пальцы в одну точку; тут спрячется сам и точно нежной акварелью пройдет, изобразив беседу живых лиц, натравит их друг на друга, запутает; и потом вдруг выскочит из засады, подмигнет: «Видите, господа; я прав!»...

«Около церковных стен» — собрание статей и заметок, написанных не на главные темы Розанова. Здесь нет огня, оплеснувшего нас из книги «В мире неясного и нерешенного», ни красоты статей, напечатанных в «Мире искусства», ни внушительности «Семейного вопроса»⁴. «Усталый Розанов на досуге занимается ручными работами», — хочется сказать, прочитав его новую книгу. То перед нами изящно выточенная деревянная лошадка, то алая бархатная прошивка по золоту. «Около церковных стен» — музей ручных изделий. «Федосеевцы в Риге», «Интересные книги, интересное время» и «Миссионерство и миссионеры» — подлинные перлы вышиванья. Так бы и положить в гостиную на стол. Только где у нас гостиные, которые стоило бы украшать такими изящными изделиями? Ведь все эти изделия — в каком-то небывалом русском стиле, пока еще нечего с ними

делать. Прочитаешь — скажешь: глубоко, занимательно. И отложишь, принимаясь за круг обычных дел.

И вдруг испугаешься при мысли, что, быть может, оттого-то и нечего делать с этими бесконечно-тонкими узорами и разводами, что они относятся не к тому, что будет, а к тому, что могло бы быть, да не случилось. Неужели в таком случае интерес к ним — антикварный интерес?

Дай Бог, чтобы это не было так.

Имена Волынского, Розанова, Мережковского, Минского — дорогие имена, незабвенные. Это наши учителя. В них находили мы отклики на все то, что волновало нас в дни нашей юности.

Были дни, когда для целого поколения слетала с глаз пелена. Обозначилось явственнее окружающее. Но способы обозначения изменились. Эта разность в способах обозначения отделила тех, кто считал себя проснувшимся, от интеллигентного большинства.

И только потом стали понимать отделенные, что углубление в Достоевского немало способствовало созданию новых ценностей, а то, что углубляло Достоевского, — заря небывалого религиозного возрождения.

Потребовалась углубленная оценка Достоевского, и вот что-то затеплилось в статьях Волынского, бриллиантами искр рассыпалось в творчестве Розанова, заревом ярким и дымным встало у Мережковского. Так создавалась религиозно-эстетическая критика. Мы в нее уверовали. Многого ждали от нее. Думали мы — загорится пожар небывалый. Если и влагали столько надежд в просто критические статьи, хотя бы и гениальные, то только потому, что мы ждали новых времен. Новые времена не принесли новостей.

Волынский не развернулся. Так и остался теплым — теплящимся, хотя теплота его пролилась на читателя объемистыми томами. Мережковский ударил по нервам, сказав вдруг голосом громким на всю Россию: «Покайтесь, приблизилось Царствие Небесное. Покайтесь и веселитесь веселием вечным, ибо Жених грядет!»

Мережковский ударил в набат, но когда бросились к нему, вдруг закрылся религиозно-общественными темами.

Мы преклонились перед будущим. Но теперь, когда будущее запоздало, мы требуем гарантий, во имя чего должны мы отречься от чистого искусства, науки и теории познания? Во имя чего мир прекрасных форм, мысли и знаний должны мы преда-

вать исступленному безумию? Кроме того: религиозные методы наших учителей, преломленные в душах наших, я бы сказал, утончились. Многие мы видим более сложным, нежели наши учителя. На вопросы, ими поставленные, мы теперь смотрим трезвее, и сомневаемся, чтобы пути, ими указанные, были единственными путями.

Мы не скептики. Но нет в нас назойливого желания личную психологию навязывать многообразной действительности. Не отказываясь от религии, мы призываем с пути безумий к холодной ясности искусства, к гистологии науки, к серьезной, как музыка Баха, строгости теории познания.

Мы опять в горах. На перевале к лучшему будущему нас встречают туманы. Мы опять одни.

Голосам наших учителей не рассеять тучи сомнений, нас опоясавших. Мы принимаем эти сомнения, не спасаясь в безумие. Мы будем бороться холодом с холодом. К тому обязывает нас благородство.

